

НАКАНУНЕ

Это теперь я говорю "накануне". А тогда, за год-полтора до войны, что я мог знать о предстоящих событиях? А что о них могли знать другие? Да, шла война в Европе, да, Франция бросила к их ногам Париж, да, фашисты хозяйничали в Чехословакии, и ежедневно публиковались сводки о налетах Англии на Германию и наоборот. Да, о возможности, больше того, неотвратимости войны много говорилось между собой советскими гражданами. Но ведь о том же много говорилось и раньше, к боевой готовности призывали и газеты, и радио на протяжении всего моего детства. Теперь же был у нас пакт о ненападении с этой самой, устрашающей всё и вся Германией, был газетный лист, запечатлевший рукопожатие Гитлера и Молотова (не Сталина — вот что любопытно), их так многообещающе улыбающиеся друг другу лица, и в самом тоне газетных сообщений об англо-германской войне в воздухе порицалась, конечно, Англия.

Но думаю, надо поскорее перестать делать вид, будто я хоть что-нибудь понимал тогда в происходящем — даже занятии гитлеровцами Парижа, вызвавшем буквально взрыв горя в сердцах мамы и Наталии Михайловны (его я помню). Нет, я ничего не понимал, да и не пытался понять — в отличие по крайней мере от некоторых своих сверстников, уже тогда проявлявших немалую политическую осведомленность. Интерес мой к событиям в мире ограничивался интересом к маркам разных стран, где поверх всего красовались грубо отпечатанные свастика или надпись "Deutsche Reich" — марки эти, понятно, имели особую ценность, но были так безобразны, что, надо признаться, одним этим вселяли антипатию к тем, кто оставлял, подобно следу от гряз-

ного сапога, такие уродливые знаки на зачастую очень красивых, тонко гравированных изображениях. Я учил себе этюды Черни и прелюдии Баха, учил уроки, по вечерам слушал Жюль Верна в прекрасном мамином исполнении. Осенью 1939 года я пошел в общеобразовательную школу — сразу в третий класс. Вообще же где-то к сороковому году началось какое-то бесцветное время. ~~словно из старого вырос, а новое еще не по-~~
~~лучил~~ Да, теперь мне совершенно ясно, что именно наступление рубежа между двумя этапами жизни — детством и отрочеством — было тому причиной: словно из старого вырос, а новое еще было спрятанным до срока... И странная мысль: а не вторгнись война, не совершись крутой даже в географическом отношении переворот в моей жизни — как бы произошел этот переход? Тут невольно становишься фаталистом: должно было случиться именно так и никак иначе. И это вовсе не только в отношении моей ничтожной особы, но и — страшно вымолвить — судьбы всей страны, да и всего человечества. Оно тоже должно было перейти в новую фазу развития, а для этого необходим был невиданной силы катаклизм, чудовищно страшный катаклизм.

Единственное яркое впечатление от последнего предвоенного года, яркое своей небывалостью, — два месяца, проведенные в пионерском лагере. Но о них я уже писал, не упомянув лишь о походах и военных играх да пении у костра самой часто звучавшей в то время песни: "Тучи над городом встали". Но разве понимали мы всю актуальность слов этой песни или значение упора на военные игры, в содержании которых я, кстати сказать, абсолютно не мог разобраться: помню только, что на довольно обширной площади прилегающего к лагерю леса надо было, согласно маркировке, выслеживать врагов, от них же прятаться...

Нет, ничего я не знал о том, что нас ждет. Ничего не знала об этом мама. Ничего не знало об этом в точности и все население страны.

Ничего не предвидел даже сам товарищ Сталин. Даже газета "Правда" от 22 июня 1941 года вышла с передовой, посвященной отдыху трудящихся. Удивительно ли, что, словно в компенсацию за проведенное нами в разлуке лето предыдущего года, мама решила на этот раз не разлучаться со мной и пожить — благо к тому представился случай — на Николиной горе, на даче у А.Б.Гольденвейзера.

Пригласил нас, точнее, конечно, маму, сам Александр Борисович: был у него такой обычай — не лишенный оттенка, видимо, льстящего его самолюбию покровительства — приглашать друзей на все лето в свой просторный, с двумя террасами и соляриями над ними дом, отводя гостям помещения во втором этаже. Впрочем, может, и другой была причина: ведь как-то в одном из писем он признавался, что принадлежит к разряду одиноких людей, и признавался, конечно, с горечью... (Излишне говорить, что ни о какой денежной компенсации при этом не могло быть и речи). В том, что на этот раз выбор пал на маму, безусловно, сказались давняя дружба и соседство наше по московской квартире с его племянницей Наталией Михайловной и ее семьей (всего за год до этого умерла ее мать, бывшая сестрой Гольденвейзера). Все они постоянно жили летом на той же даче. Но к самой маме, как ученому, хозяин явно благоволил: думаю, импонировали ему прежде всего ее фактологические, документалистские устремления, а кроме того, как-то связывало их и задуманное перед войной издание писем Скрябина (кажется, Ленинской библиотекой, с составителем-неким Ждановым).

Для нас такой выезд был событием: это уже не казенный дом отдыха (ну, пусть творчества — дела сие не меняет), это не житье в деревнях Шейнове или Володникове, не снимание какой-то обшарпанной комнаты в Голицыне, да и той же Николиной горе у Лидовых, и особенно — не предыдущее лето, проведенное врозь: мною-в пионерском лаге-

ре, мамой – в московской работе. Тут нам были отведены две, правда, почти совсем пустые комнаты с роскошным, неправдоподобно просторным солярием, и просто невозможно было появиться в этом помещении с той рухлядью, которую мы могли бы перевезти из нашей плотниковской комнаты. И вот была куплена пусть очень скромная, но лѣняя, именно летняя дачная обстановка, которая вместе с перевезенным из Москвы пианино "Шредер" могла придать "нашей" даче достаточно пристойный вид.

Обстоятельства покупки некоторых вещей мне очень памяты.

Несколько часов жаркого дня конца мая 1941 года мы с мамой провели "в городе". Станным кажется сейчас это выражение: "в городе". Ведь жили мы по нынешним понятиям в самом центре Москвы, на Арбате. Но тогда у нас постоянно звучало: в воскресенье надо будет поехать в город, купить то-то и то-то; и под городом, видимо, подразумевался уже самый-рассамый центр – сплетение наиболее торговых улиц: Кузнецкого моста, Б.Димитровка, Петровка, Неглинной; ну и, конечно, – основные театры: Большой с филиалом, Малый, Художественный.

Жаркие, знойные часы эти употребили мы на покупку двух соломенных кресел и шезлонга, чрезвычайно нравящегося мне и своим загадочным названием, и возможностью превращения то в кресло, то почти в кровать, то просто в куски холстины внутри, складывающихся, ~~складывающихся~~ находящих друг на друга деревянных рам. Было душно и липко от пота (кажется, помню даже магазин, где мы стояли в очереди, – перекресток Петровка и Кузнецкого моста со стороны Пушкиной улицы). Уже в изнеможении оформили мы заказ на доставку покупок, а потом разошлись: я – домой, а мама, несмотря на жару и усталость, еще по каким-то делам.

Сейчас это кажется невероятным, но доставка на дом состоялась почти немедленно. Зазвенел звонок, я расписался на какой-то бумажке,

и комната наша, и без того тесная, стала совершенно непроходимой — особенно после того, как я каким-то образом ухитрился разложить во всю длину пресловутый шезлонг или лонгшез (надо же, даже название оказывалось способным к превращению). Разложил и лег; и поистине это был волшебный отдых от шатания по магазинам (как не навидел я такое шатание, уставал более всего именно от него и в последующие годы), дивно освежало это после уличного зноя, с которым так контрастировала каменная прохлада нашей мрачноватой, выходящей окном на север комнаты! Не знаю, может быть, само лежание в кресле с таким экзотическим названием ассоциировалось для меня с понятием взрослости, но я решил, что должен взять для чтения какую-нибудь совершенно взрослую книгу. Среди прочих томов, стоявших в маминих шкафах, внимание мое давно привлекал ряд одинаковых, старомодных, тускло отсвечивающих позолотой корешков — "Собрание сочинений А.Н.Островского", изданное в свое время Марксом в качестве приложения к "Ниве". Стал просматривать оглавление каждого тома и немало дивился странности названий, так часто совпадавших с поговорками, которые к тому времени уже слышал, главным образом от Анюты. Все это было заманчиво, конечно: ничто не могло сравниться с заглавием "Вешеные деньги", заставившим самым причудливым образом заработать мальчишеское воображение. Что я мог понять тогда в этой пьесе? Конечно, ровным счетом ничего. Но само это непонимание имело в себе что-то необыкновенно лакомое. Нет, не разумом, но каким-то инстинктом я воспринимал остроту, часто язвительность реплик, обилие парадоксов, которыми так изобилует это произведение; а кто знает, быть может, — и внутренняя порочность почти всех его персонажей влекла меня, будила зародыши будущих собственных пороков, угадываясь, разумеется, тоже бессознательно... Во всяком случае, до сих пор, открывая страницы этой пьесы, я читаю ее (все по тому же

изданию!), ощущая себя не только в настоящем, но и в прошлом, так запомнившимся жарком дне в конце мая 1941 года.

Исполнилось мне к тому времени 11 лет. Не знаю почему, но еще гораздо раньше возраст этот очень манил меня, казался чуть ли не высшей точкой расцвета человеческой жизни. О том, что дальше, и думать не хотелось; но вот о себе одиннадцатилетнем мечтал я часто — этакий бравый мальчуган в красной, напоминающей пилотку испанке (сколько мальчишек носило их в годы испанских событий!), со стройными загорелыми ногами — о брюках в этом возрасте тогда и не помышляли, для меня же они и вовсе символизировали уже следующий, почему-то даже отталкивающий этап в моем желании остановиться именно на одиннадцати годах... Не помню, чтобы я за короткий срок жизни на Николиной много рисовал, а от музыкальных занятий наверняка и вовсе "отдыхал". Но вот засушивание растений было тогда моей страстью. И ведь какие возможности открывались: собрать гербарий за весь летний период с самого его начала. Техника этого дела была довольно примитивной; все же будущие экспонаты засушивались не где-нибудь в страницах книги, а между больших, специально отведенных для этого бумажных листов, сверху же наваливалось несколько кирпичей. Слышал я и о засушивании цветов в песке, но хотя речного песка было вдоволь на никологорских пляжах Москвы-реки, но с этим способом сохранения флоры у меня что-то не клеилось.

Участок дачи Гольденвейзера был очень велик — около гектара, и лишь небольшую часть его занимал недавно сооруженный теннисный корт — великая гордость хозяина, всю свою жизнь всячески пропагандировавшего эту игру, в частности, с точки зрения пользы для пианистов. Позднее на этом корте играли многие любители тенниса, самой примечательной фигурой из которых был С.С.Прокофьев. Но тогда дача

Прокофьева была еще дачей В.В.Барсовой, и никаких знаменитостей из приходивших "побросаться" мячом — часто с самим владельцем дачи — я не припомню. Зато не могу забыть одной ужасной совершенной мною бестактности. В течение нескольких предшествующих лет на даче Гольденвейзера жил его любимый ученик, знаменитый и действительно превосходный пианист Г.Р.Гинзбург, сын которого Лева был моим ровесником. В том же году Гинзбурги почему-то жили на другой даче, и только Лева с друзьями постоянно приходили попользоваться теннисным кортом. Конечно, я тоже пробовал свои силы в игре, но получалось у меня это плохо, ибо хоть и исполнились мои заветные одиннадцать лет, но на бравого героя моего детского воображения я не походил совершенно. Кроме же всего прочего, был весьма близорук. Видимо, Лева и его компания не прочь были подтрунить над моими "способностями", ибо, конечно, бросил я свою крайне бестактную реплику в большом раздражении. Была же она примерно следующей:

— И вообще ты тут не живешь, нечего тебе сюда приходить, это не твой участок.

В пояснение должен добавить, что формула эта была выдумана не мной, а любезной Анютой, готовой всегда броситься на защиту моих интересов и часто проходившейся по поводу тех, кто "шляется по чужим дачам". Видимо, именно она и дала мне совет выдвинуть против моих недругов подобный аргумент. И вот что занятно: сама же Анюта со свойственной простым людям инстинктивной, так сказать, пронизательностью определила мой характер как "уж слишком простой" (что в деревнях означает по меньшей мере — глупый) и не уставала призывать меня "жить своим умом", не слушая того, "кто чего наговорит". И вот сама же натворила дел (или "делов", как сказала бы она сама). Что же потом? Конечно, обида была смертельной, пришлось маме ходить извиняться перед семьей Гинзбургов; и все-таки с тех пор Лева так

больше и не заявлялся.

Кстати, два слова об этом Леве. Сейчас он достаточно широко известный музыкальный деятель, Лев Григорьев, журналист, член Союза; а между тем никакого специального музыкального образования он не получил, и похоже, что ответственность за последнее обстоятельство ложится, главным образом, на родителей его. С самых ранних лет — так по крайней мере говорили — старались они, особенно мать Ревека Львовна, сама музыкант, сделать из него вундеркинда и... добились абсолютного отвращения к музыке ^{со} стороны своего чада и категорического отказа проводить хотя бы час за инструментом. Меры, по слухам, применялись самые жесткие, но это только усугубляло сопротивление упрямого дитяти. Ко времени, о котором идет речь, на музыкальную карьеру его уже совершенно махнули рукой, сам же он интересовался, главным образом, различными зарубежными марками автомобилей, которых стал большим знатоком. Позднее Лева кончил библиотечный институт, а еще позднее все-таки связал свою жизнь с музыкой, страшно жалея, по слухам, об ошибке детства, — гены сработали. Думаю, жалеть не стоило. Он стал тем, чем создан был стать, — помимо всего, весьма состоятельным человеком... Отношения у нас с ним хорошие, хотя надо ему отдать должное — трепач он изрядный. К тому же, хотя никогда не произнесено ни единого слова об упомянутом эпизоде, у меня всегда ощущение: не забыл.

Пожалуй, рассказанный курьез был наиболее заметным событием тех двух-трех недель, что предшествовали звучанию голоса Молотова из радиоприемника, а вместе с ним — концу моего детства и началу отроческой поры.